

В. В. Розанов

Два вида «правительства»

«Прочитав статью г. Ник. Энгельгардта „Спасович о Пушкине“...»

Прочитав статью г. Ник. Энгельгардта «Спасович о Пушкине», не могу удержаться, чтобы не сделать к ней несколько добавлений. И да простит читатель, если они не будут того же спокойного тона. Если вдуматься, нападения г. Спасовича на Пушкина гораздо больнее для памяти великого поэта, нежели та грязь непонимания, которую когда-то лил на его голову наивный Писарев. Во-первых, они опаснее потому, что осторожнее и умнее; во-вторых, потому, что они не так ярки и не вызывают сейчас же и резкого отпора, т. е. они остаются в уме читателя. Между тем предмет их гораздо мучительнее, избранные точки для нападения — гораздо тягостнее, и не только для Пушкина, но и для русского общества, привязанного к его памяти. Писарев доказывал, что Пушкин «не поэт», как, напр., был для него поэтом Гейне, а во-вторых, что если бы он и был поэтом, то это — «ничего не значит, не содержит в себе никакой заслуги, так как всякий, если захочет, „может сделаться таким же поэтом, как Пушкин“». Эта детская аргументация, детская и по теме всей, и по способу выполнения, могла подействовать на детские части общества, но она как-то в сущности не задевала и не касалась самого Пушкина. Так его понимают — ну что ж, всякий в понимании волен, и качества понимания лежат на ответственности каждого.

Нападения г. Спасовича, не затрагивая поэта, даже усиленно охраняя от умаления его гений, — тем, кажется, с большим беспристрастием и основательностью сосредоточиваются на Пушкине-человеке, на Пушкине как члене общества, хотя бы и живущего. Упрек здесь бросается не в литературную мантию поэта, а ему в лицо. И содержание упреков г. Спасовича таково, что они пачкают это лицо, ровняют человека; они клонятся к тому, чтобы исключить из общества его члена. Само собою разумеется, что «поэт» погиб, когда погублен человек, и этот прием неизмеримо оскорбительнее, чем все, что писал наивный Писарев.

Г. Энгельгардт не без остроумия и меткости назвал статью г. Спасовича «эристикой»; даже не софистикой, но эристикой, и только. Г. Спасович, обладающий прекрасным и легким слогом, умом совершенно достаточным, чтобы не дать заметить отсутствие в нем оригинальных мыслей, и гражданским чувством настолько приподнятым и шуршащим, что оно не дает подслушать и подглядеть человека, — не есть в собственном смысле писатель. Потому что нет новой, ему лично и исключительно принадлежащей мысли, за которую онился бы с пером в руке, отстаивал ее, страдал за нее, на ее торжество надеялся, об ее непризнанности скорбил. Нет ничего такого, т. е. нет содержания писателя в нем, а есть только форма. Все его мысли — подняты с улицы, т. е. вы их читаете в «Вестнике Европы» или в «Русской Мысли», у г. Спасовича или у покойного Евг. Утина. Он — носильщик в литературе: коробейник, у которого за плечами товар не его фабрики. В конце концов, и, как это общезвестно, он сырый и самодовольный адвокат, опера omnia которого могли бы быть удобно озаглавлены названием «В часы досуга». В нем мы наблюдаем игру «прекрасного слога» над человеком, которого этот стилистический талант, без тяжести внутреннего содержания, повлек сделался журналистом.

Пушкин народен и историчен, вот точка, которой в нем не могут перенести те части общества и литературы, о которых покойный Достоевский в «Бесах» сказал, что они исполнены «животного злобой» к России. Он не отделял «мужика» от России и не противопоставлял «мужика» России: он не разделял самой России, не расчленял ее в своей мысли и любил ее в целом: т. е. он именно «свободно», как прекрасно настаивает г. Энгельгардт, — около мужика любил помещика, около Петра I — Иоанна IV; и, наконец, он любил правительство свое, ну, хоть в той степени, в какой позволительно же, не вызывая насмешек, татарину любить свой шариат и своих мулл, еврею позволительно любить синагогу и раввинов. Он до конца жизни своей любил и уважал декабристов: и никто никогда не подслушал, нет ни одного об этом буквенного памятника, чтобы, говоря с императором Николаем I, он когда-нибудь в этом разговоре попрекнул их память.

Вот этого отношения к России ему не могут простить, ибо это значило бы помириться с Россией, чего решительно не могут носители «животной ненависти к ней», по определению Достоевского. Создалась легенда о «придворной ливрее» Пушкина: о перемене, «чередовании» (выражение г. Спасовича) в убеждениях Пушкина; о том, что это «чередование» совершилось «не безвыгодно» (термин г. Спасовича) для него. Наконец, вопреки свидетельству его поэзии, в ее неисчерпаемых глубинах: вопреки свидетельству его прозаических отрывков, где каждая страница может быть развита в философский трактат и каждая строка может быть раздвинута в страницу, создалась версия о его «поверхностности» и «малообразованности». «Шекспир создал целое человечество»: ведь эта мысль, эта короткая строчка 36-летнего Пушкина ценностью и обилием содержания перевешивает все, что успел в критике и истории литературы написать г. Спасович к 60-тилетнему своему возрасту. Его параллель между Мольером и

Шекспиром есть программа литературно-критической школы; возражения Радищеву и Чаадаеву есть программа политическая, более ясная и убедительная, чем какую 30 лет проводит и защищает «Вестник Европы». Мы говорим о черновых его набросках, о бумажном хламе, который он бросал в корзину, а не нес в печать. Мы не подыметем речи о таких его созданиях, как «Египетские ночи», где на протяжении всего 16 страниц он дал три образа незабываемых, три клочка разделенных тысячелетиями миров, углубившись в которые и отделяя форму от содержания, мы не знаем, кому более удивляться в Пушкине — вдохновенному ли поэту, который так умеет рисовать, или всемирному мудрецу, который так умеет понимать. Но для г. Спасовича Пушкин «легковесен»... *Sancta simplicitas!*

Остроумно г. Энгельгардт говорит, что статья г. Спасовича оставляет впечатление смешного. Это — для читателя зоркого, размышающего, наконец, знающего и понимающего Пушкина; но у «Вестника Европы» 6000 подписчиков, т. е. 60000 читателей, между которыми многим, без сомнения, нужна указка, и г. Спасович, при всегдашей серьезности его тона, может показаться указкою совершенно достаточною. Подобные «писатели» поэтому, мы думаем, понижают общество умственно, удерживая от размышлений, от изучения, от простой любви к человеку такого поэтического дара и таких глубин ума, как Пушкин. Ибо «поэт» и «мыслитель», который оказался столь слаб теоретически и нравственно так несостоятелен, как Пушкин по объяснениям Спасовича, имеет мало вероятия быть внимательно изучаемым. Критики, когда они несправедливы или когда они вообще почему-либо не стоят на уровне с критикуемым автором или книгою, бесспорно, умственно деморализируют общество.

Мы сказали, что под гражданским шумом, точней, шуршаньем, в пределах законодательных §§, - г. Спасович не дает рассмотреть в себе человека; и между тем именно на человека, на лицо нападает он в Пушкине. Мало кто помнит теперь, но, справившись с «Дневником Писателя» Достоевского, всякий может узнать, что г. Спасович защищал на суде не разгу, но истязание розгами девочки-ребенка семи лет; истязание с кровью, и столь вообще дикое по форме, что дело и до суда дошло через «донос» соседней бабы-прачки. Баба-прачка оказалась на большей высоте гражданского и даже государственного развития, чем знаменитый юрист и очень известный журналист. Оставим это. Мы хотим поговорить о «ливрее», которую г. Спасович усиливает натянуть на плечи Пушкина, и мы поищем ее на нем. Пушкин «подыгрывался» к правительству, и не «безвыгодно»; изменял дружбе приятелей, когда они оказались в беде; «не безвыгодно», оставив прежние убеждения, вызвал «на очередь» в себе другие. Так «указывает ему двери» из общества, и уже конечно, из литературы, литератор и член общества г. Спасович. Но что есть «правительство» для человека? Не то ли, от чего или, точнее, от кого он зависит, кто его держит у себя в руках? Итак, для Пушкина в том незначительном объеме, насколько он был подданным и насколько именно это подданничество составляло содержание его жизни, его трудов, дум, опасений, надежд, — правительством был император, его лично знавший; для всякого чиновника, уже во всей полноте его жизни, правительство есть бюрократический механизм. Но нет ли в этой же полноте, нет ли правительства и на бирже? Струсберг звался в Германии «железнодорожным королем»: вот правительство и вот лицо правителя. Нет ли правительства у адвоката? — Да, его клиент, т. е. возможных тысяча клиентов, которые дадут богатство, или возможных два клиента, которые оставят нищим; и, наконец, есть правительство у писателя; это — его читатели, которые дадут ему известность, положение, деньги; или безвестность, нищету, презрение. Я сказал, что в строгом смысле г. Спасович не есть писатель; и теперь прибавлю, что он не достоин этого имени, истинно высокого в истинном его значении. Капель утруженного пота не видно на листах его трудов; пота, который окрашивался бы кровью, не видно; мысли, за которую он боролся бы с «правительством»...

Ну, конечно, со своим правительством, т. е. с правительством читателей, которым говоря новую мысль он их убеждал бы, распинался бы и даже готов был бы «пострадать за убеждения», т. е. потерять читателей или очень значительную их часть. Вот новый вид мученичества, и слава Богу, что еще есть какой-нибудь, т. е. что можно по готовности к мученичеству отличать честного от бесчестного, ибо время наше — время «подделок» и, так сказать, «маргарина» на всех путях, во всех сферах, в том числе и литературной и политической. Но вы указываете, т. е. я говорю о г. Спасовиче и аналогичных ему «писателях», что вы «готовы пострадать за убеждения» не перед своим правительством, а перед чужим, перед начальством чиновников, которому никакого дела до литературы нет, оно эту литературу Почитывает да позевывает и переходит, как к серьезному делу, к своим «отношениям», «делопроизводителям», «директорам» и проч. Даже в тех случаях, когда оно считает своим долгом «присмотреть» за писателем, при малейшей осторожности так легко ускользнуть от его кар, не меняя никаких убеждений, каковы бы ни были они, и лишь несколько прибегая к «эзоповскому языку», читателям, т. е. единственному истинному правительству писателя, совершенно понятному. Но вот кого нельзя обмануть, кто истинно зорок и кто беспощадно строг — это правитель-читатель. Попробуйте с ним бороться; попробуйте перед ним отстоять свое «я», свою уединенную работу, свои нервы, свой ум и «искру Божию» в вас. Я хочу сказать, попробуйте не уважить кумиров этой тысячеголовой вас слушающей толпы, не уважить ее предрассудков, привычек, иногда ее сна, ее болезни, — и она вас потрет или причинит вам столько страданий, сколько не сможет и не сумеет причинить совершенно вам чуждое «правительство» чиновников. Вспомним, как мало чувствительна была, какую вообще незначительную роль в жизни Тургенева играла ссылка его в деревню за некролог о Гоголе; и какою мучительною болью